

МИХАИЛ ПОПОВ

## ЧАС МОЛИТВЫ

*Записки паломника*

*Отче наш, Иже еси на небесех!  
Да святится имя Твое...*

Мы идём просторным просёлком. По сторонам – просвеченный солнцем сосновый бор, под ногами – беломошник. Внизу и позади – Пинега. А у меня – стойкое ощущение, что поднимаемся выше и выше. Река, действительно, внизу, но угор-то мы уже одолели. А кажется, всё вверх идём. Отчего это? Может, оттого, что говорим о высоком. О душе, об Ангелах небесных, о Боге. Говорит больше он, мой вожатай, я только слушаю. А он то и дело останавливается посреди дороги, понуждая к этому и меня. Да и то: нельзя же о таком рассуждать походя, то есть на ходу – непременно надо остановиться. Тем более мне – ведь у меня же доселе не бывало подобных бесед.

Виталий в переводе с латинского ‘Жизненный’. Но толкует он не о земном.

– Вот ты родился. Жизнь дали родители, душа – от Бога, это сосуд, куда пустой. Тебе надо прожить так, чтобы к мирскому концу наполнить сосуд этот духовным елеем, и тогда душа, угодная Богу, непременно попадёт в Рай – в святилище любви и блаженства.

Как же, спрашивается, сберечь душу живую, коли вокруг столько искушений, столько соблазнов, и так её, бедную, сызмала марают?

– А внимать. Слушать и внимать, что Отец небесный внушает. – Тут Виталий касается своего кепарика. – Голова, ум – это антенна, направленная к Господу, через неё Он обращается к сердцу человеческому. Слушай и внимай.

Я не то чтобы перечу, а рассуждаю. Кругом шумы, лязг двигателей, какофония попсы... Это на земле. Но и на верхах помехи. Чего стоят одни мобильники, через которые туда, в космос, льются потоки пошлости, грубости и скверны... Бедные Ангелы Божии, каково-то им среди этого запущенного с земли смрада?!

– Вот, – подхватывает Виталий, – потому монахи и молятся денно и нощно, расчищая пути от земного к небесному. Наш монастырь, Артемиево-Веркольский... А ещё Сийский, Соловецкий... Это только здесь, на Русском Севере. А по всей России нынче сколько!

Тут мысль его покидает пределы державы.

– А на Афоне сколько монастырей! – Он, естественно, опять останавливается. – Ты знаешь, что ежедневно на Афоне служат двести сорок литургий?! Представь, какой поток света обращён к Богу!

Я пытаюсь представить. То в виде северного сияния, то в виде первых рассветных лучей, хотя сознаю, что поток тот незрим, во всяком случае, для человеческого глаза.

В продолжение темы Виталий роняет, что там — он кивает в небо — все мирские достижения не в счёт. По закону ли жил, Им данному, — вот главное. А то, что ты наработал, чего достиг, там не имеет ровно никакого значения, и тем самым даёт мне понять, что скромные бдения его спутника тоже в зачёт не пойдут, потому как это — мирское и бренное. Я не перечу. Хотя немного и тушуюсь: вот, значит, как?!

Некоторое время мы идём молча. Ежели всё земное не в счёт, для чего же Господь наделяет людей даром художника или поэта? Шаг мой, слегка сбившийся, обретает мерность. Да для того, видимо, чтобы они славили Божий мир. Ведь благодарственная молитва творится не только перед иконами. И монастырский хор, и одинокая песня в широком поле, и нестеровский отрок, и пушкинская строфа — всё это Слава Божия. “Нет, братец, — кошусь я на Виталия, — тут ты погорячился”, — однако вслух этого не говорю.

Меж тем дорога ведёт нас дальше. Виталий вспоминает одну притчу. Жил-был один священник. Вера в Господа его была несокрушима. В пору засухи он шёл творить молебен и брал с собой плащ и зонт. То есть батюшка ничуть не сомневался, что после молебна Всевышний смилостивится и нагонит на небо тучек. Вот какой верой обладал!

Тут уж замедляю шаг я и даже останавливаюсь. Но не оттого, что дивлюсь крепости веры сельского батюшки. Нет. А оттого, что знаю его, этого священника. Знаю от Антона Павловича Чехова. Источник информации — повесть “Дуэль”. А звучит она из уст юного дьякона Победова, который вспоминает своего дядьку-священника. Меня так и подмывает напомнить, а может, и открыть этот источник моему спутнику — в другой ситуации я наверняка сделал бы это, — а тут помалкиваю, сознавая, что такое “открытие” равновелико гордыне...

**...да придет Царствие Твое,  
да будет воля Твоя,  
яко на небеси и на земли...**

Вожатай сворачивает к реке в ему одному известном месте. Идём без дороги, на ходу лакомясь брусничкой да черничкой. Грибов почти нет. Пересекаем ручей. Здесь, поясняет Виталий, была монастырская мельница, в глубине видны древесные связи и камни. Поднимаемся от ручья наверх, и вскоре перед нами опять открывается Пинега. Судя по виду, это близко к излучине.

Виталий выводит точно. Внизу под берегом — о. Венедикт. Он облачён в гидрокостюм и, стоя поперёк течения, машет удочкой — такая ловля называется нахлыстом. Течение на повороте мощное. Вода только что не кипит. Оттого так широко надо ставить здесь ноги — иначе снесёт.

У мирского этого занятия — глубинные корни. Среди Апостолов — верной артели Христа — были рыбаки. И это выражение — *уловлять души* — аukaется с их первоначальным занятием. Так же и здесь, на берегах Пинеги, под сенью Артемие-Веркольского монастыря. Уловить душу, оберечь её от мирских козней, не дать её бесам на поругание — таково назначение православных пастырей.

### **Из дневника**

*Тихие лампадки, две-три свечи раздвигают церковный сумрак.*

*Отец Иосиф, наместник монастыря, творит службу благолепно: негромкий голос его доносится из алтаря и, кажется, тихо парит над молящейся братией.*

*Сегодня о. Иосифа нет — он отправился в Архангельск. Службу правит о. Венедикт. Его мантию я увидел из окна паломнического дома, готовясь к утренней — в начале шестого часа — службе. В свете фонаря она взвихрилась, что тебе пушкинская крылатка, столь стремителен был шаг священника.*

*И вот служба... Мантия в покое. Но перед Царскими Вратами о. Венедикт стоит, точно шкипер во время бури. Здесь, в храме тихо, однако буря-то вокруг и впрямь бушует. Вон какая бесовщина раззуделась по просторам Отечества — российской житейского моря! Как устоять? Только так — крепко стоя на ногах и в святоотеческой вере.*

Под нашим берегом — тень. На той стороне — солнце. Там уютнее и теплее. Зато тут костерок, пахнет дымком и съестным духом.

Сидим троём за скромной трапезой – пюре с трещёчкой, чай из термоса, сухарики да прянички. А вокруг – благодать первоначальной осени.

Наш неспешный разговор касается Афона – туда священник и Виталий собираются в паломническую поездку, а потом обращается к литературе. Выясняется, что о. Венедикт читает и почитает Чехова, а ещё Достоевского. Для духовного делания, понятно, – Евангелие, жития, труды святителей Православия. Но и светская – высокого уровня словесность – у него тоже в ходу.

Я, скользнув взглядом по лицу Виталия, с радостью подхватываю. Чехов – мой любимец. Перечисляю произведения, где духовная основа сюжета или персонажи – иерархи церкви: “Студент”, “Архиерей”... Но особо выделяю о. Христофора из “Степи”. Егорушка да о. Христофор – две удивительно чистые души, отрок и стоящий перед вечностью старый батюшка.

Сегодня утром я исповедался о. Венедикту. А за полдень мы сидим с ним за походной трапезой. Одно не отменяет другого. Как духовные книги не отменяют мирской словесности. Я не говорю это Виталию, тем более что и он не затевает о том речь. А для себя эту тему закрываю гоголевской формулой из переписки (имею в виду “Выбранные места...”): подлинное искусство, т. е. настоящее, искреннее, честное – “незримая ступень к христианству”.

Пятый час вечера. Пора. Сегодня церковный праздник, послушания нет, но служба в храме – особо торжественная. Вечерня начнётся, как всегда, в 17.00.

Собрав посуду, загасив головешки, поднимаемся с Виталием на угор. Следом с рюкзаком за плечами идёт о. Венедикт. Высокий, голенастый, он легко одолевает крутой подъём. Наверху стоит велосипед. Добротный, дорожный, как поясняет Виталий, о двенадцати скоростях. Несколько оборотов колеса – и о. Венедикт исчезает меж соснами. А мы с Виталием идём следом. И опять он говорит о душе, о молитве, о Боге – о том высоком, что в повседневности часто затушёвываается, как солнце затеняется осенним ненастьем. А погода – благодать, на небе – ни облачка.

### **Из дневника**

*“Послушание паче поста и молитвы” – так внушал о. Христофор из чеховской “Степи” отроку Егорушке. Я сам выразил готовность, испрашивая таковое у о. Иосифа после первой утренней службы. Однако начальное послушание меня несколько, мягко говоря, озадачило.*

*Нам с трудником Володей (потом окажется, что он военный моряк, в недавнем прошлом – морской офицер) поручена работа в погребе. Здесь хранилась картошка, надо подготовить его для нового урожая, т. е. обмазать сусеки известью. Накануне погреб обрабатывали биотеком, чтобы избавиться от плесени, потому здесь стоит устойчивый запах аммиака.*

*Берусь за кисть – этакую тяпалку, – окунаю в раствор. Но все равно мне не по себе. Дышу осторожно, урывками. Тяжело. Явственно чую, как аммиак проникает в бронхи. Володя, хоть и молодой, испытывает то же самое. Я молчу – будь что будет. Но Володя, наконец, не выдерживает. Он заявляет, что в таких условиях работать опасно, и отправляется за Геннадием. Геннадий, старший над трудниками, заглянув в погреб, заключает, что условия здесь, действительно, неподходящие. Однако время не ждёт: вот-вот начнётся засыпка картошки. Что же делать? Посоветовавшись, моряк и старшой решают так: попробовать работать, используя противогазы, а если не поможет, затопить боллиндер – специальную печь, чтобы запах аммиака вытеснить древесным дымом. Сказано – сделано. Импортный противогаз, видимо, практичный в других средах, здесь не помогает. Володя, испытав его, мотает головой. И тогда мы с ним затапливаем тот немного похожий жерлами на многоствольный миномёт агрегат...*

Вечером, записывая дневные события, размышляю и о послушании. Что было бы, если бы я работал на погребе один? Поручили бы в одиночку обустроить картофельную яму, и стал бы я шлёпать кистью, пока от аммиачного угара не пал. Послушание ведь – это задание. И что тут скажешь, как возразишь?! Это ведь, как в пословице: “В чужой монастырь со своим уставом...” Монастырь-то, конечно, свой, православный. Но ты тут гость, приезжий, даже паломником не решаешься пока себя называть.

Слава Богу, всё разрешилось здравомысленно. И я не столько умом, сколько сердцем осознаю, что так управил Господь. Не мог же Он в Своей

обитатели оставить новичка без Отческого догляда. А тут и подтверждение подоспело. Старшой Геннадий, давая очередное поручение, передал напутствие о. Иосифа: дескать, пусть паломник труждается, да в трудах-то не переусердствует. Хорошо это так легло на душу...

### **Из дневника**

После обеда Геннадий направил меня в дровяник, подав топор и свеженькие, хоть оркестром дирижируй, рабочие перчатки. На кухне топят все печи, идёт заготовка солений-варений, дров требуется много, коли.

Шведский топор лёгонький, не чета моему дачному колуну. Однако не факт, что такому “по зубам” были бы мои – обхвата не хватит! – чурки. Другое дело здешние дрова. Сухой, звонкий тонкомер – полешки летят с чурака с одного удара, знай, подставляй следующую чурку.

Колю в охотку. Жарко. Скидываю ветровку – всё равно жарко. Стягиваю свитер, остаюсь в одной футболке, даром что сентябрь.

Обочь входа – куча наколотых кем-то дров. Моя растёт на глазах, но ещё не опережает... Работаю без передыха, одно донимает – запах табака. Под стеной дровяника устроена для трудников и рабочих-ремонтников курилка, вот они и смолят. Даже здесь, в пределах обители, настагает “табачное зелье”.

Пятый час пополудни. Скоро вечерняя служба. Сравниваю наколотую кучу с соседней. Моя “на голову” выше. Ну, хватит. Завершаю упряг и с топором на плече иду к месту постоя.

### **...хлеб наш насущный даждь нам днесь...**

Окладистая, с сединой, борода, длинные волосы, собранные перевязью на затылке, широченные чёрные штаны в дополнение к чёрной же просторной куртке – Виталия нельзя было не заметить.

Я возвращался из трапезной – было это в первый день моего монастырского пребывания, – а он стоял на крыльце паломнического корпуса. Разговор обычно завязывается с погоды. Тут она более чем располагала. Сеял ласковый не по-сентябрьски дождичек, сияло солнышко, а над монастырём раскинулась обнимавшая, не иначе, концы и начала, радуга. После двух-трёх восклицаний, которыми мы обменялись по поводу небесной картины, бородач, не чинясь, спросил, зачем я сюда приехал. Прямой вопрос требует прямого ответа. Так я и поступил, и слово “душа” было в том ответе главным. Вот с этого всё и началось. Мой собеседник тотчас поднял разговор на уровень радуги, никак не ниже. И хотя это было покуда непривычно, но я уже осознал, что в монастыре о Боге речь ведут не только на церковной службе.

Внезапно собеседник умолк и потянул носом. Я тоже нечто уловил. Он кивнул и устремился внутрь, жестом приглашая за собой. Первая от крыльца дверь распахнулась. Пахнуло печным теплом, но сильнее того – печёным хлебом. Я оказался – ни много ни мало – в монастырской пекарне. И заправлял ею, неся послушание пекаря, вот этот коренастый бородач – брат Виталий.

Едва не половину пекарни занимает печь. Традиционная русская печь, но калибра Царь-пушки. Жерло её отворённое, то бишь устье, источало ровный жар. Пекарь надел рукавицы, взял в руки кочергу, сунул её в печь и вытаскивал на шесток металлическую – на три буханки – форму. Первую оставил и перевернул – хлебы поспели. А вторую и остальные задвинул обратно – пусть ещё подойдут.

Буханки величиной поболее мирских лежали на спинках, аки новорождённые младенцы, только что не пищали. Потом к ним прибавилось ещё три, ещё... Пока через четверть часа на столе не оказалось несколько десятков свежеспечённых, ещё горячих монастырских хлебов.

Отерев пот со лба, Виталий принялся заваривать чай. Это было завершение его дневного упряга, и я спросил, как этот день начался.

Хлебная страда длится семь часов. Подъём в пять утра. Помолившись на первой службе и получив благословение у наместника, он затапливает печь. Дрова всегда заранее высушены, как и мешок муки (вот возле печи стоит очередной, словно малец под боком у матери, набирающийся тепла). Далее следует хлебная молитва – без неё в монастырской пекарне хлеб не творится. И только после этого он начинает замешивать тесто...

Виталий отрезает хлебную горбушку толщиной с две свои мозолистые ладони и подаёт мне. Казалось бы, сыт – трапеза обеденная была нескудная, – но духовитый тёплый хлеб так манит, что я под чаёк мигом его уминаю, и Виталий отрезает ещё кусман.

Начинал он послушание пекаря шесть лет назад. По первости, бывало, сокрушался, что какую-то буханку повело. Теперь смотрит на это спокойнее. Тесто живое, огонь-жар живой, руки – тоже. Так как тут иной раз и не перекосить...

– У Пелагеи, поди, тоже такое бывало...

Поворот, возникший в разговоре, – для меня откровение. Оказывается, Веркольская деревенская пекарня находилась именно здесь. Печь теперь другая, но помещение – то же. И именно здесь двадцать лет кряду трудилась пекариха Пелагея, точнее, прототип абрамовской героини. Вот как жизнь переплетается со словесностью и какие узлы завязываются! Наверняка Абрамов здесь бывал и, образно говоря, от печки и плясал, замешивая тесто “Пелагеи”.

### **Из дневника**

*За месяц до моего приезда в Верколе и здесь, в Артемие-Веркольском монастыре, снимали фильм. Телеканал “Культура” затеял серию картин о писателях военного поколения. Ведущий всех фильмов – И. П. Золотусский. В последних числах июля мы виделись с Игорем Петровичем в Архангельске, было это накануне отъезда съёмочной группы на Пинежье. Весь вечер, гуляя по Двинской набережной, мы обсуждали литературные дела, делились планами, вспоминали ушедших писателей, и мой собеседник признался, что из всей пишущей братии, с кем он был знаком, Фёдор Абрамов – самый сокровенный для него человек. Кончина Абрамова стала личным горем Золотусского. Не случайно первую книгу о нашем земляке – она вышла через два года после кончины Фёдора Александровича – написал именно он, Игорь Петрович.*

*В монастырской пекарне звучали имена Абрамова, Пелагеи, Золотусского... Зашёл разговор о съёмках. Некоторые эпизоды происходили на глазах Виталия. Одна деталь вызвала у него сомнение. Правильно ли режиссёр фильма поняла, для чего Пелагея использовала печную лопату. Мозоль на плече у неё не от работы у печи. Мозоль от лопаты, на которую она надевала сумку с хлебами да ведро с хлебными отходами, кои ежедневно таскала с пекарни домой: буханки – для себя, отходы – для поросёнка... В ноябре я ездил по делам в Москву, наведаясь в Переделкино и передал этот разговор Золотусскому. Игорь Петрович сомнения снял: режиссёр – человек искушённый, подготовленный, а в процессе съёмки, вернее, по ходу подготовки к очередному эпизоду каких только не возникает вариаций...*

Попивая свежий чаёк, наворачивая тёплый хлебушек, я мыслями обращался к повести о Пелагее. Вспоминал её перевоз, как она правила лодку, как тащила свою ежедневную поклажу, как выглядывала издали, ещё с тропы, мужа, Павла, который встречал её из-за реки...

– А тропка-то до сих пор приметна, – словно угадывая мои мысли, заметил Виталий.

– О, как!

Образ тропки и вообще стези человеческой как судьбы вызвал логический вопрос:

– А кем ты был до монастыря? Здесь, в обители, говоришь, тринадцать лет... А до того кем был, Виталий?

– Бандитом.

\* \* \*

Природа человеческая лукава. Кому охота о себе говорить хуже, чем ты есть. Мы в миру предпочитаем умалчивать о своих недостатках, не говоря уж о пороках. Наш автопортрет чаще ближе к идеалу – этакая парсуна, некая красивая картина, на которой всё в радужных тонах, а мы если не в героях, то среди приближённых к ним... Что тут скажешь? Слаб человек, а потому грешен. И тщеславен, и завистлив, и злопамятен, и... А вот так открыто, почти наотмашь, хлестануть себя – слабо...

Вот и Виталий... Мог бы ведь о том же рассказать, но как-то иначе. Скажем, хмурясь и супясь, не щадя себя, но чуть прижавивая, — дескать, молодой был, глупый, попал в дурную компанию, вовлекли, угодил по дурику и т. д. и т. п. То есть о себе, но будто не совсем о себе, а может, как о несмышлёном младшем брате. А он — нет. Бандит — и всё тут. Никаких послабук. Что было — то было. Без малого двадцать лет злоключений и заключений. Да не просто в зоне, а бывало — и усиленного режима.

Однако в первый раз, когда я услышал об этом, не стал переспрашивать и выпрашивать. Остановился и перевёл разговор на другое. Но потом кое-что уточнил...

### **Из дневника**

*Получаю очередной наряд-послушание. Снова — погреб, но теперь другой. Из него предстоит извлечь остатки прошлогодних солений-варений, а освободившиеся полки заставить свежей продукцией — 3-литровыми банками с помидорами и огурцами, овощными рагу, перцами, грибами, вареньями из голубики, черники, малины, мочёной морошкой... Братия в монастыре немаленькая, а зима на Севере долгая — все сусеки к маю подметёт.*

*Здесь, на погрузке, лихачить нельзя. Стеклоанная тара требует осторожности, но обретаемая в процессе сноровка уже позволяет достаточно свободно обращаться с грузом.*

*Время за полдень. Перерыв. Перед обедом пью чай — такова у меня давняя привычка. А попутно сушу на горячем чайнике мокрую футболку, печка-то остыла. После обеда — снова погрузка-разгрузка. А потом — служба...*

Из всего этого — ранние молитвы, работные послушания и снова молитвы — и складывается ощущение правильности и даже примерности монастырского уклада. Вот бы этот уклад — да в нынешнюю мирскую повседневность: это же как профилакторий для души, измочаленной городской дёрганкой, транспортной бестолковщиной и телебесовщиной.

Тут, в монастыре, постоянно вспоминается Фёдор Абрамов — даже если не глядишь на Верколу, на тот берег Пинеги, где его могила. Вот давеча аукнулись его памятки о детстве. Семья рано осталась без отца — Федя только родился. Однако мать, ставшая вдовой, не опустила руки, а своим духом, своей материнской волей сумела сплотить братьев и сестёр. Благодаря усиленному повседневному труду их семейная артель сумела сначала выбиться из нужды, а потом и обрести достаток. С каким благоговением, с какой благодарностью зрелый Абрамов вспоминал те годы! Именно тогда окреп его характер, тогда пришло убеждение, что только неустанный труд — независимо от поприща — может принести человеку подлинное счастье.

А ведь в те поры кругом творилось иное. Сегодня брат Виталий напомнил о том.

Пришливые большевики посекали из пулемётов здешних монахов, а монастырь объявили центром коммуны “Новая жизнь”. Главарём её стал комиссар по имени Неофит. Имя из святцев — значит, новообращенец, — а звучит, как знак отступничества и как издёвка. Первой задачей пришельцев стало обезглавить храмы. Самый высокий купол, ударившись о землю, потряс окрестности. От грохота насмерть перепугался новорожденный — ребёнок того самого Неофита: его хватил родимчик, и он в одночасье умер. То есть святотатство было тотчас наказано. Однако это не смирило разбойную артель, названную “Новой жизнью”. Они продолжали бесчинствовать. Но поскольку в коммуну сбилась главным образом неробь — бездельники да прощелыги, умевшие только языком молоты, устраивая бесконечные политзанятия, — то крепкое монастырское хозяйство вскоре захирело. И когда забили последнюю корову, когда проели все монашеские запасы, коммуна сама собой и распалась.

Об этом написано в романе-тетралогии Фёдора Абрамова “Братия и сёстры”, в частности, в главе о житии Евдокии-великомученицы. Нынче в государстве творится нечто похожее. Дорвавшееся до власти чужеродное племя, творя лукавые законы, проедает-разворовывает остатки народного достояния... Но конец-то обязательно придёт. Вот только чему или кому?

**...и остави нам долги наша,  
якоже и мы оставляем должником нашим...**

Библейская история гласит: иерусалимские храмовники — фарисеи и начетчики, не принявшие Мессию-Христа и уязвлённые Его популярностью в народе, — затеяли неправоё судилище и, подстрекая толпу, вынудили прокуратора Иудеи Понтия Пилата обречь Сына Божия на казнь. Казнь должна была состояться накануне Песаха — ежегодного весеннего праздника; по сложившемуся обычаю, в этот день мог быть помилован один из преступников; толпа по наущению фарисеев освободила от казни матёрого разбойника Варавву — одного из трёх бандитов, а Иисуса Христа обрекла на голгофское страдание.

Евангелисты, оставившие свои свидетельства о тех событиях, весьма скупы в рассказах об этих днях. Может, поэтому возникло и возникает доселе немало апокрифов. В конце 70-х мне попала в руки книга шведского прозаика Пэра Лагерквиста “Библейские истории”. Особенно запала в душу одна из повестей — “Варавва”. Писатель, кстати, Нобелевский лауреат, столь искусно представил дальнейшую жизнь Вараввы после Голгофы, что я поверил ему: разбойник искренне раскаялся, придя в ужас от своих злодеяний, и сердце его устремилось за Христом.

Я долго находился под обаянием этой пронизанной горним светом гуманистической прозы, пока в нашей державе не наступили 90-е годы. Распалось на глазах государство, власть в стране захватили фарисеи, лжецы, циники, приспособленцы, бал правил криминал. Вот тогда из моего изболевшего от повсеместной несправедливости сердца выплеснулась своя версия библейской истории, точнее сказать — повесть о Варавве.

Вор, в широком смысле этого слова, — разбойник, бандит, нечестивец — должен сидеть в тюрьме. Это очевидно. Но мне важно было другое — показать толпу, которая приговорила Христа и помиловала бандита. Чем обернётся это зло для толпы или хотя бы для одного из этой оголтелой массы. Я выделил из толпы красильщика из Лода, который, не ведая всех обстоятельств, взял сторону толпы и более того — стал деятельным участником казни Христа. Он получил своё в полной мере, это заблудший торгаш, — и я не пожалел красок, чтобы показать следующую неделю его жизни и крах его благополучия. Но мне показалось этого мало. Захотелось, чтобы эхо той библейской несправедливости — освобождения разбойника — докатилось до наших дней: то, что творилось в Отечестве, мне представлялось — ни больше, ни меньше, — как следствием событий на Голгофе. И опускаясь-поднимаясь по нити времён, я стал проследивать судьбы потомков Вараввы, пока не пришёл к нашим дням. Получился роман, который я назвал “Огненный знак, или След пропащей души”. Он вышел в 1997 году.

Новый поворот произошёл почти через полтора десятилетия. Заключительную часть романа я вычленил, развил, уточнил и, дав повести название “Багряница”, поместил в новую книгу прозы. Книгу эту — она называется “Посох уходящего странника” — я захватил с собой, отправляясь в монастырь. Виталий оказался книгоцеем, более того, он старается первым познакомиться с новинками, которые попадают в библиотеку обители. Поэтому все книги и экземпляры журнала “Двина” я передал ему.

Какого-то развёрнутого отзыва о прочитанном я не услышал. Однако по отдельным репликам догадался, что читает Виталий быстро и за считанные дни уже прочёл многое из привезённых мною изданий. Запомнилось одно, не помню, правда, в какой момент это было сказано: лада нет у моих персонажей, судьбы горькие, трагические, без смирения... Не скажу, что меня поразила эта оценка, — я сознаю особенности своей литераторской природы. Удивило то, что отзыв рядового, как в таких случаях говорят, читателя, совпал с точкой зрения профессионала — известного литературного критика, ныне покойного А. А. Михайлова. Только Александр Алексеевич — письмо пришло незадолго до его кончины — подметил, кроме уже сказанного, “суицидальные мотивы” у моих персонажей. А что касается Виталия Александровича, то он, давая оценку моим повестям и роману, думал, полагаю, не столько о персонажах, сколько о читателях, о том, что заложено в классической формуле: “Как слово наше отзовется...” То есть, другими словами, автору, читай — мне, надо заботиться о том, чтобы не “задавить” читателя мнимой “безвыходностью” жизни. К тому побуждает и библейская история. Ведь у разбойника Вараввы были сообщники, и один из них во время казни искренне покаялся за свои злодеяния, и ему, по милости Божией, был уготован Рай.

### **...и не введи нас во искушение...**

Как брат Виталий пришёл к Богу? Душа привела. Казалось бы, совсем она захирела, запаршивела за годы этапов, тюрем да лагерных зон; да где-то на остатнем краю востепенулась и удержала его от погибели, приведя к простой мысли: в узилище надежды ни на кого нет – только на Бога; убить могут, никто не спасёт, только – Он. И повела его, слепца, к иконе. Начали в те поры в колониях ставить часовенки, а где и церкви. Пошёл зэк Виталий Ковров за душой, и затеплился в сердце огонёк веры. И молился, и читал, и строил. Несколько часовен и храмов при его участии появилось в местах не столь отдалённых на Архангелогородчине.

В ту зону он попал на исходе очередного срока. Душа его уже жила в Боге. Как обрадовалась она, что там, на новом месте заключения, есть церковь, что можно отмаливать перед иконостасом грехи, приводить к Господу другие заблудшие души. Однако всё оказалось не так-то просто. Храм в той зоне был поставлен не по любви, а по разнарядке: есть поветрие или негласное распоряжение – ставить церкви, вот начальство и отозвалось. Храм поставили, в отчёте появилась строчка – что ещё надо?! “Службу надо вести”, – заявил новый сиделец. На него цыкнули: “Си-ди”! Однако он не отступил: есть церковь – надо устраивать воскресную школу.

И тут случилось то, что называется испытанием, экзаменом на крепость духа. Замначальника зоны оказался его ровесником, более того – почти армейским сослуживцем: они отправлялись в армию одним эшелонем и служили в одних местах – в Польше, только Виталий – в обеспечении авиации, а тот – в танковой части. Разговорам – что да как – не было конца. Кто же не знает такие дембельские посиделки, когда “бойцы вспоминают минувшие дни...” Радости узнавания не мешала даже разница нынешнего положения и та заиндевелая колючая проволока, которая ёжилась за окном.

Годок оказался человеком своим: ослабил Виталию режим, добавил свиданий, писем, переводов... Одного только не позволил – воскресной школы. От него ли это лично исходило (был иноверцем) или от его начальника, но было позволено отворять церковь на один час в воскресенье – и всё.

Зэк Ковров вроде благодетельствован был, а душа раба Божия Виталия скорбит. Как быть? Идёт он вновь к начальству. Опять разговор. Зам-ровесник, как и его папа-юрист, ставит условие: оформлю условно-досрочное освобождение, через два месяца будешь на свободе, но за эти два месяца в церковь – ни ногой! Согласиться, смириться, переждать? До конца шестилетнего срока ещё не близко, а тут – всего 60 суток и – УДО. Соглашайся, твердит телесность, каждая жилочка стонет – так ей охота на волю. А душа скорбит: отступить от Бога?!

И что же? За неподчинение начальству зэк Ковров получает 15 суток ШИЗО – штрафного изолятора. А там известное дело: хлеб да вода, да дубьё по хребтине. Проходит пять суток: ну, как – одумался? Нет? И опять в кондей под дубинки да кулаки. Отсидел полмесяца. Снова к начальству: даёшь воскресную школу! И опять ШИЗО на 15 суток. Так повторялось несколько раз. В конце концов, как “особо упёртого” его отправили в зону усиленного режима. И вместо двух месяцев Ковров отбывал в неволе ещё полтора года. Зато там была воскресная школа, и велась церковная служба: окормлял тамошнюю паству о. Венедикт, часто навещавший зону. А после освобождения раб Божий Виталий, не заезжая ни к матери, ни к сестре, прямым ходом кинулся в Веркольский монастырь.

### **Из дневника**

*Задаю себе вопросы. Получила ли милость Божию Пелагея (или прототип её) – попала ли её душа в Царствие Небесное? И получит ли её послушник Виталий, который треть мирской жизни просидел в колониях?*

*Те, кто тащил колоски с колхозных полей или жмых с коровника, поступали несправедливо, но ведь голодая. Или кто шарил по карманам, воруя на пропитание. А Пелагея-то несла с пекарни свою несправедную десятину для своего обогащения. А Виталий-то, бандитствуя, может, поломал не одну человеческую судьбу.*

*Те, кто в лихие годы наворовали, награбили, обманом присвоили себе народное достояние – заводы, шахты, суда, – Туда не попадут, это понятно.*



Но попадут ли Туда те, кто жёг дорогие машины нуворишей? И опять же – Пелагея? И опять же – Виталий?

### ...но избави нас от лукаваго

Всё, казалось бы, сделал правильно. И благословение получил на паломническую поездку – отец Феодосий, наместник Архангельского подворья Артемиево-Веркольского монастыря, осенил напутственным крестом; и отец Иосиф, наместник обители, с которым удалось поговорить по телефону, выразил радушие, посулив встретить-приветить... Ан, нет! Всё оказалось не так-то просто, во всяком случае, на последнем этапе.

В Карпогорах, куда меня доставил поезд, должна была ждать попутная машина – “буханка цвета белой ночи”, как охарактеризовал её о. Иосиф. В потёмках, хоть площадь вокзальная и была слегка освещена, все кошки, то бишь машины, кажутся серыми. Но номера-то в свете фар читаются. Увы, названного номера среди десятка-другого автомобилей не оказалось. Потом выяснилось, что та “буханка” – она доставляла на вокзал веркольских пассажиров, – выехала с некоторым опозданием и к приходу нашего поезда не поспела. Но я-то этого не знал. Пометавшись по привокзальным закоулкам и не сыскав нужной машины, я достал мобильник. Увы! Связь оказалась “на нуле”! Странное дело, с этим же аппаратом я везде – пусть и за другую плату – на связь выходил, а тут – ни звука. Ни с водителем названной “буханки” связаться не удалось, ни с о. Иосифом. Что делать? Остаётся маршрутная “газель”. Сажусь в неё – мало ли как обернётся бездействие, не на вокзале же ночевать! Едем по Карпогорам, выезжаем на окраину, и тут доносится голос о. Иосифа. Это я потом только соображаю: связи нет, а голос священника прорывается сквозь безмолвие. Коротко объясняю ситуацию, а на душе, что называется, кошки скребут. Так бывает, когда ты вроде и не виноват, а досадно.

Дорога тянется сквозь лес, не дорога – стиральная доска. Водитель тихо ругается, пеняя дорожникам за их нерасторопность и скардность: хотя бы раз в неделю прошлись грейдером.

Худо-бедно добрались до Верколы. Единственная попутчица выходит. Прошу водителя довезти меня до перевоза. Едем, пронизывая темень фарами, через Абрамовский луг. Вот и берег, так говорит водитель, но я ничего не вижу. Снова берусь за мобильник. Набираю номер паромщика. Связи нет. Водитель Володя, добрая душа, набирает на своём “Билайне” один за другим несколько номеров. Время к полуночи. Номера молчат. Наконец, через паузу, отзывается о. Иосиф. Перевозчик, заверяет он, скоро будет.

Тихо, темно. Чувствую лёгкое смятение, но опаски нет. Я же сам писал в романе “Свиток” про монастырь, правда, Сийский, что монаси, верно, на сто вёрст вокруг поразогнали чертей. Или это не так? И это именно они и препятствуют мне? Задним числом вспоминаю брата Виталия. “Бесы не только снаружи тебя, но и внутри”. А что? Не бес ли по имени *Торопыга* срывает меня зачастую с места, не давая поразмыслить, а в данном случае – пождать, уповая на милость Божию?!

Темноту справа пронизывает вспышка. Это фонарь перевозчика. Расплачиваюсь с водителем, благодарю за помощь и терпение, захлопываю дверцу и тянусь на зыбкий свет. Под берегом лодка. Фонарь освещает её часть. Перевозчика зовут Виктор, лица его не разобрать. Заваливаюсь в длинную – метров семь-восемь – лодку. Фонарь тут же гаснет, мотор, работавший на малых оборотах, взвивается, и мы отчаливаем.

Свежо, даром что только начало сентября, впрочем – ночь. Оглядываюсь по сторонам. Ни луны, ни звёздочки. Справа – лоскуток далёкого отсвета, словно подёрнутый пеплом истлевающий уголёк, слева – две красные точки габаритных огней трансляционной вышки. А впереди что? Горизонтальная полоска света приближается. Не иначе, “Наутилус”, всплывающий с глубины. Нет, при ближайшем рассмотрении это оказались створы пристани: два фонаря, воткнутые в песок. Лодка тюкается носом между ними. Прибыли.

– Бывали здесь? – осведомляется лодочник.

– Бывал, – уверенно отвечаю я. Однако о том, что только зимой, да при ясном свете, да весьма давно, – помалкиваю. А чего? Вон виден одинокий фонарь. Монастырь там. Туда и двинусь. Выхожу из лодки, и, поблагодарив перевозчика, делаю первый шаг.

Лодка тотчас же отчаливает, мигом исчезая в потёмках, фонари за спиной меркнут. “Воды обстали меня по грудь мою” – так, кажется, в Писании. А тут темнота, да не по грудь, – по маковку. Правое плечо моё заносит вперёд, стало быть, смещаюсь влево. Ну, да, успокаиваю сам себя, ориентир – тот фонарь, а он ведь был слева. И не чую, как похихикивают, суча лапками, бес Торопыга на пару с бесом Самонадеянным.

Мотора уже не слышно, пристани с низовыми фонарями не видно. А впереди? Иду по песку, угадываю стопой.

Сентябрь – тёмное время. Собственной руки не вижу, где там под ногами что-то различить. Чувствую по звуку: до того я шагал по песку, а теперь под ногами нет песочного хруста. Значит, трава. Луж вроде нет, иначе давно бы сырость почуял. Но нет и ориентира – того самого единственного фонаря. Его поглотил угор и деревья, стоящие на нём. Я не вижу его, но чую. Чую стопами – здесь начало подъёма, но ещё, наверное, шестым чувством, в таких ситуациях обостряющимся. Нет, угор мне не одолеть. Темень, кромешный мрак, по лицу елозят ветви кустарника, дальше – больше, впереди, надо думать, деревья, а под ногами глина. Это я “осознаю” уже руками. Хорошо, что, оскользнувшись, не обронил сумку, – иначе до рассвета было бы не сыскать.

Сердце стучит не буднично, аж в ушах отдаёт. Но смятения нет. “Господи, помилуй!” – твержу и иду вдоль угора, стопой фиксируя его кромку, чуть вправо, чуть влево. Похоже, я уже где-то напротив фонаря. Угадываю не столько зрением, сколько рассудком, ведь сместившись влево – надеюсь, что влево! – уже изрядно прошёл. Зрение, видать, обострённое ситуацией, различает разницу в небесной и ближней тьме. Слабые отсветы фонаря, похоже, очерчивают кроны деревьев. Найти бы между ними прогал! “Господи, помилуй!” И вот – не чудо ли! – различаю. Это как дальний отсвет при выходе из глубокой пещеры. Туда! Где на коленках, где упираясь боковинами сапог, тянусь ввысь. Угор крутой. Оступаясь, оскальзываясь и порой теряя взятую высоту, тянусь и тянусь. Балансируя, чтобы не сверзиться, чтобы сумка не перетянула, хватаясь за охвостья пожухлых трав, вздымаюсь и вздымаюсь. Склон крутой, кажется, – стена. Но с Божьей помощью одолеваю его. “Вот вам, стрекулисты!” – это я бесам, только что язык не показываю. Теперь надо осмотреться да отдышаться. Слева – силуэт деревянной церкви. Крестное знаменье. Справа – тот самый фонарь и слабое сияние храмов. Крестное знамение и поклон.

Да, Господи, фонаря монастырского я достиг. Но как же мне далеко до горного света. Век, поди, не дойти, одолевая препоны да угоры. Но идти надо. Во мраке-то вон как бесприютно...